

«Петербургский дневник» представляет

Илья Штемлер



Война – она для всех война. Для взрослых и для детей. Но перед детьми, если они на себе не испытали ее ужас, война нередко прячет свою бесчеловечность, представляясь игрой, как ни кошунственно это звучит. В этом еще одна подлость войны – коварство...



Война детей

Писатели на войне, писатели о войне

Илья Петрович Штемлер
Война детей
Серия «Писатели на
войне, писатели о войне»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18481738

*Война детей: Информационно-издательский центр Правительства
Санкт-Петербурга ОАО «Петроцентр»; Санкт-Петербург; 2015
ISBN 978-5-91498-064-8*

Аннотация

Память о Великой Отечественной хранит не только сражения, лишения и горе. Память о войне хранит и годы детства, совпавшие с этими испытаниями. И не только там, где проходила война, но и в отдалении от нее, на земле нашей большой страны. Где никакие тяготы войны не могли сломить восприятие жизни детьми, чему и посвящена маленькая повесть в семи новеллах – «война детей». Как во время войны, так и во время мира ответственность за жизнь является краеугольным камнем человечества. И суд собственной совести – порой не менее тяжкий, чем суд людской. Об этом вторая повесть – «Детский сад». Война не закончилась победой над Германией – последнюю точку в Великой Победе поставили в Японии. Память этих двух великих побед, муки разума перед невинными жертвами приводят героя повести «Детский сад» к искреннему осознанию

личной ответственности за чужую жизнь, бессилия перед муками собственной совести.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| ВОЙНА ДЕТЕЙ | 5 |
| КТО БРОСИТ В НЕЕ КАМЕНЬ? | 7 |
| ПРАЗДНИК СОБАК НАШЕГО ДВОРА | 30 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 33 |

Илья Штемлер

Война детей

ВОЙНА ДЕТЕЙ

Маленькая повесть

в семи новеллах

Война – она для всех война. Для взрослых и для детей. Но от детей, если они не испытывают на себе все ужасы войны, она прячет свою бесчеловечность, нередко представляясь игрой, как это кощунственно ни звучит. В этом проявляется еще одна подлость войны – коварство...

Мне было восемь лет, и в ожидании учебы во втором классе я изнывал в июньской жаре моего родного города Баку. Мой папа заведовал литературной частью Русского драматического театра. И в июне 1941 года уехал вместе с театром на гастроли в Кисловодск. Там на курорте отдыхал знаменитый драматург Погодин, в пьесу которого «Кремлевские куранты» мой папа с разрешения драматурга придумал одну картину. И папе было интересно, как драматург к этому отнесется, вот и поехал. А я с мамой и сестрой готовился навестить родителей папы – моих дедушку и бабушку, которые жили в Ленинграде. В предвкушении этой поездки я растре-

звонил всем пацанам нашего двора о том, что представляет собой Ленинград и какое удовольствие ждет меня через несколько дней. Долго важничать мне не пришлось. За два дня до отъезда началась война – та самая, с Гитлером. Папа вместе с театром вернулся из Кисловодска и вскоре отправился в военкомат, который находился рядом с нашим домом. Он не был военнообязанным, поэтому записался добровольцем, как и многие его друзья-артисты. Папу обучили санитарному делу, с которым он провоевал санинструктором под командованием знаменитого Цезаря Куникова на Малой Земле, в Крыму. Он вытаскивал раненых с поля боя. Четырежды менялся весь наличный состав наших войск в тех сражениях с немцами, а папа оставался в живых. Лишь в конце войны, в апреле 1945 года, его настиг осколок. Он так и демобилизовался санинструктором, с тем осколком в легких и с медалью «За Победу». И еще ему вручили победных пять тысяч рублей в пятирублевых купюрах. Почему я это запомнил? Деньги хранились в ящике буфета, и я, двенадцатилетний охламон, втихаря пару раз «одалживал» по купюре на свои ребячьи нужды... Все военные годы я и сестра жили под крылом мамы и бабушки. Только взрослея, я стал понимать, какую беду принесла война в, казалось, мирную тыловую жизнь моих близких. Возможно, этими короткими рассказами я в какой-то степени поведаю о той «уходящей натуре», которую оставила в моей памяти печально-веселая игра времен моего детства.

КТО БРОСИТ В НЕЕ КАМЕНЬ?

Каждый из нас подбирал себе камень по вкусу.

А выбор был: в соседний двор с полмесяца как привезли машину камней. Собирались рыть колодец. И вот уже с полмесяца как вечерами спорили жильцы соседнего двора: каждый хотел, чтобы колодец вырыли поближе к его квартире.

Рабочие – губастый Ибрагим и его жена – сидели под тутовником, ели лаваш с виноградом и ждали, когда кончится спор и укажут место, где рыть колодец. Они сидели с шести вечера дотемна, изредка обращая лица в сторону окна, из которого доносились наиболее громкие крики.

– Холера бы взяла этого Гитлера и тебя, Таир! – кричала горбатая Зейнаб. – Был бы мой муж рядом, он бы не допустил, чтобы его жена-инвалид таскала ведро воды почти из Арменикенда. О-о...

– Какой Арменикенд?! Что ты мелешь, глупая женщина? – возражал ей старый Таир, председатель артели по ремонту обуви. – Десять шагов от моей квартиры и двенадцать от твоей. Всего на два шага разница!

Таир выскакивал во двор и отмерял шаги в разные стороны, словно искал место, где зарыли клад. В парусиновых брюках он казался большим белым циркулем.

– Два шага до твоей могилы, Таир! – вопила Зейнаб. – Посмотри, какие шаги ты делаешь для себя и какие для меня,

несчастный!

Таир хлопал себя по дряблым ягодицам и нервничал:

– Клянусь жизнью, эта женщина может свести с ума академика из Академии наук! Пойми, женщина: если шагать наоборот, будет центр. А в центре колодец копать нельзя. Постановление исполкома!

Губастый Ибрагим молча жевал свой лаваш с виноградом, щуря черные глаза, разъеденные дымом от кипящего кира, – днем он работал кирщиком, заливал крыши киром. А его жена испуганно замирала, придерживая кусок лаваша у рта.

Груда камней с каждым днем уменьшалась: прекрасный отполированный морем крупный галечник – ребята за ним приходили даже с Бондарной улицы, а это не так уж и близко, надо сказать. Но куда не пойдешь в поисках хорошей биты для игры в цукорий...

Наконец позавчера Ибрагим в разгар перепалки соседей завернул виноград и лаваш в газету «Вышка». Встал. Плюнул в кучку оставшихся камней, закинул на плечи две лопаты и пошел со двора. Жена подхватила большую плетеную корзину – зембиль, плюнула в то же самое место, куда плюнул муж, и выругалась по-русски, как ругался дворник, косой Захар, когда читал сообщение о наступлении немцев...

– Все из-за твоего упрямства, женщина! – кричал Таир. – Они самому председателю суда Алекперову колодец рыли.

– Лучше бы они этому Алекперову что-нибудь другое вы-

рыли, – подхватила Зейнаб. – Моей племяннице два года дал. А за что?! Сколько людей сейчас спекулируют – и ничего! Война, жить трудно. Кто крутится, тот живет...

Итак, выбор у нас был широкий, и каждый мог подобрать себе камень по вкусу. Правда, вкус почти у всех мальчишек совпадал:

бита должна быть некруглая, чтобы не катиться, лучше всего – овальная и тяжелая, чтобы сбить цукорий. Игра заключалась в следующем: в центр очерченного мелом круга ставилась пустая банка с маленьким камешком – цукорием – наверху. Так прозвали камешек в связи с тем, что сахар по-украински назывался цукор. Его до войны продавали в голубых пачках. И заядлые любители чая, после того как осушали стакан, переворачивали его и на дно водружали огрызок сахара, что и напоминало внешне нашу перевернутую банку с камешком на макушке. Вероятно, поэтому и прозвали игру цукорием. И надо отметить, что это была самая популярная игра нашего военного детства, за исключением, пожалуй, другой игры – «Здравствуй, осел!», но не о ней сейчас речь.

Мы играли в цукорий. Мы отступали от круга метров на десять и по очереди швыряли свою биту. Попасть в банку было несложно. Главное – так выбить ее из-под цукория, чтобы камешек свалился в меловой круг. А это было великое искусство, которое давалось немногим. Игра была азартная, она разжигала страсти, сопровождалась криками, спорами,

клятвами и мелким плутовством. И нередко прерывалась потасовкой, когда двор шел на двор.

Лично я считался мазилой. Мне редко удавалось даже попасть в банку. Но меня принимали в игру из-за того, что банка принадлежала лично мне – прекрасная желто-красная банка из-под американской тушенки, прозванной дворником Захаром «второй фронт»... Я принял соответствующую позу, свирепо прищурил глаза и отвел руку назад. Камень приятно тяжелил руку и казался теплым, словно обернутый шершавой кожей. Мои приятели нетерпеливо переминались с ноги на ногу: скорей бы я бросил, промазал и за дело принялся следующий, более умелый игрок.

Я бросил. И не промазал. Камень коротко стукнул о банку. Банку выбило, и цукорий упал в круг. В самый центр. Более удачного удара нельзя и представить. Все игроки обомлели. Я выпрямился и стоял, гордый, в ожидании поздравления, еще не веря в свою удачу. Но мне так и не удалось до конца испить сладкую чашу победителя – кто-то крикнул за спиной:

– Дезертирка вышла!

Я тут же был забыт. Все обернулись в сторону крыльца, на котором стояла девчонка в голубой косынке. Черными, чуть навывкате глазами она беспокойно и настороженно ощупывала нас. Все соседи считали, что она красивая девочка, но я был убежден, что красивым человек не может считаться, если у него такие бараньи глаза. И такие волосы, похожие на

растрепанную метлу дворника Захара...

Девочка поджала одну ногу, и все увидели протертую насквозь подошву старой туфельки. Губы ее скривились, и она произнесла негромко (вероятно, не хотела, чтобы ее кто-то слышал, кроме нас):

– Мне в школу надо.

Мальчишки многозначительно покачивали в руках тяжелые биты.

– Если я опоздаю, меня будут ругать, – отчаянно добавила она и осторожно, точно пробуя пальцами ног воду, ступила на первую ступеньку.

– Давай! Давай! Спускайся, – злорадно подбадривали ее.

– Вы будете бросать в меня камни? – она шмыгнула носом.

Все молчали. И без слов было ясно, что намерения ватаги в отношении девчонки не слишком миролюбивы.

Я же отчаянно старался схватить за хвост ускользающую удачу, что так внезапно свалилась на меня:

– Эй, Томка, ты видела, кто сейчас сбил цукорий?

– Ты дурак! И все вы дураки...

Она повела худенькими плечиками под стиранным-перестиранным платьем и спустилась с крыльца, глядя прямо перед собой. Кто-то из нас первым пустил камень по асфальту, прямо под ноги девочке. Второй, третий... Камни, словно трассирующие пули, веером слетались к тому месту, куда ступали ее туфли. Девочка подпрыгивала, пропуская их под собой, и, не выдержав, побежала...

Все началось с того душного вечера, когда во дворе появился высокий мужчина в толстых очках. Это был отец Томки – Спартак Адигезалович Адигезалов. Все знали, что он ушел на фронт в самом начале войны. И он вернулся. В очках и гимнастерке, с латкой на локте. Неизвестно, кто первым пустил слух, что Спартак не вернулся, как возвращались раненые, а убежал с фронта, дезертировал. Потом мы долго гадали, кто же пустил этот слух: то ли горбатая Зейнаб, то ли тетка Марьям, которая продавала соседям вонючее хаши. Но слух такой был. А так как у всех соседей кто-то воевал или уже был убит или ранен, то слух этот не оставили без внимания.

– Счастливая Аида, Томкина мать. Умерла, не дожидая до черного часа – видеть мужа-дезертира. Подумаешь, близорукий! Кто сейчас здоровый? Все воюют – и ничего, – и горбатая Зейнаб сообщила, что однажды ночью она видела, как Адигезалов шел по двору... без очков. Ночью. Думал, что его никто не видит, все спят. Он шел в уборную без очков. Зейнаб так поразились, что не могла и слова вымолвить. Тогда ей все стало ясно. Видимо, она и пустила слух, что Адигезалов – дезертир.

– И как его родители таким именем называли – Спартак? – озадаченно спросил дворник Захар.

– А что родители? – вмешалась Зейнаб. – Как что, родители виноваты. Откуда они знали? Как что, все родители виноваты...

– Нет, не все мне ясно, – сомневалась моя бабушка. – Почему он добровольно ушел на фронт? Я ведь помню: он стоял на призывном пункте на улице Полухина, вместе с моим Женечкой...

– Почему? Чтобы пыль в глаза пустить! – казалось, что горб у Зейнаб еще больше вздулся от негодования.

– Ладно, ладно! – прикрикнула моя бабушка. – У человека, может быть, катаракта обоих глаз. А вы?

Дворник Захар, дремавший под теплым вечерним солнцем, встрепенулся. Он знал все, что происходит на свете. И по каждому поводу имел свою точку зрения.

– Катаракта? Ха-ха... Это же рыба такая, – и уточнил для пушей важности: – В Африке.

– Рыба – каракатица! Катаракта – это болезнь глаз, – поправила бабушка, которая тоже кое-что знала, но редко это показывала.

Дворник Захар тотчас отчаянно заспорил. Но бабушка презрительно оглядела его маленькую фигуру и покачала головой:

– Тебе, Захар, как человеку, тоже имеющему дефект зрения, не мешало бы это знать.

Захар еще отчаяннее заспорил: он не любил, когда намекали на то, что он косой, даже так тонко намекали, как это сделала тогда моя бабушка.

– И девочку жалко, – вздохнула Зейнаб. – Такая красивая.

– Слушай, перестань, да?! Всех жалко! Наоборот, пусть ей

будет стыдно за отца. Чтобы тот все понял, — Захар отошел от женщин и принялся подметать двор, хотя только-только закончил уборку... Вообще-то Томка считалась своей девчонкой. Было время, когда мы хотели взять ее с собой, собираясь бежать на фронт. Но потом кто-то нас предал, и затея провалилась, сопровождаемая ревом всех заговорщиков: наказывали при широко распахнутых окнах.

И весь квартал знал, что произошло...

Словом, Томка была своя девчонка. И если бы не загадочное возвращение с фронта ее отца Спартака Адигезаловича, она так бы и оставалась своей. К тому же на нашу улицу принесли подряд три похоронки, и сорок дней, согласно обычаю, все родственники убитых ходили в трауре.

Надо сказать, что и Томка не очень хотела с нами зняться, после того как мы не поверили, что ее отец вернулся с фронта по состоянию здоровья. Она молча терпела наше презрение, и это выводило нас из себя. И лишь когда кто-то первым запустил в нее камень, а потом и все остальные мальчишки, как стая волчат, последовали его примеру, она заплакала...

Я нередко вспоминаю ту историю с Томкой. Даже в другой, взрослой своей жизни приходится сталкиваться с такой слепой неприязнью к существу, которое ничем не виновато в том или ином поступке, имеющем к нему очень отдаленное и чисто условное касательство. Людям порой недосуг разбираться до конца, да и лень. Если это не затрагивает их лично. А несправедливость по отношению к кому-то переносится

легко. Скольким людям доставляло наше равнодушие горькие минуты, даже если оно проявлялось не столь бурно, как в той истории моего детства!

Школьная парта, которую занимала Томка, стояла в конце средней колонки. И она сидела одна: никто не хотел с ней сидеть. Когда педагог выуживал из ветхого классного журнала фамилию Адигезалова, Томка проходила через весь класс под мычание учеников. Тогда злились учителя: узнать нельзя, кто мычит, – у всех сомкнуты губы. Поэтому учителя избегали вызывать Томку, благо она готовила все уроки на отлично, в чем учителя были уверены...

Однажды Томка отвечала зоологию. Надо было перечислить все органы чувств окуня. Интересно, какие могут быть чувства у окуня? Чувство горячей сковородки? Мы, тридцать балбесов, слушали, с каким пылом Томка рассказывала про окуня, словно это был ее хороший знакомый. Кое-кто даже перестал мычать. Оказывается, у Томки были рыбки, и она каждый день записывала о них какую-то ерунду: что они едят, как реагируют на разные звуки. Особенно, дескать, их пугает звук, который издает расческа, когда проводишь ею по ребру аквариума. Класс был поражен. В то время как мы гоняем по двору, занимаясь всякой чепухой, Томка, та самая Томка, которую мы презирали, оказалась не зубрилкой, а человеком целеустремленным, вызывающим к себе интерес учителей. И это было по нашему самолюбию.

Мсть наша была мелкой. Один из учеников, по фамилии

Сеидов, – толстощекий коротыш, слишком сытый на вид по меркам нашего полуголодного военного детства, – выкрикнул с места, что все равно Томка дезертирка и слушать ее ответ ему невыносимо...

Томка покраснела и беспомощно взглянула на учительницу.

– Какие-то глупости! – воскликнула наша добрейшая Гоар Сергеевна. – Очень легко обидеть человека... Если бы и вправду ее отец... – учительница запнулась и покраснела, как Томка. – Давно бы разобрались, – вяло договорила Гоар Сергеевна.

Томка шла на свое место, втянув в тощие плечики маленькую голову. Зоолагиня растерянно пыталась внушить нам, что мы возводим напраслину на человека, который, вероятно, – да и наверняка – был отозван с фронта по состоянию здоровья. Что мы жестокие, неумные дети... К тому же мы трусливы – навалились всем классом на своего товарища...

– Да?! А тетка Зейнаб сама видела, как он шел ночью в уборную без очков, – выложил главный козырь Сеидов.

– А у тебя отец заведует рынком! – вдруг перебил Сеидова мой лучший друг Борис.

Было не совсем понятно, какая связь между отцом Сеидова и отцом Томки, но мы почему-то эту связь уловили. Интуитивно.

– Ну и что?! – закричал Сеидов.

– А ничего! – ответил мой лучший друг.

Возможно, Борис и сам пожалел: с чего это он выскочил? Вероятно, оттого, что у Сеидова всегда в сумке были отличные завтраки. А однажды он притащил в школу... кусок шоколада. Об этом долго говорили на всех уроках, а кое-кто из младших даже приходил посмотреть на Сеидова. На большой перемене. Ждали: может быть, он еще раз вытащит кусок шоколада и покажет людям? Так этот самый Сеидов слыл большим правдоискателем. И, честно говоря, если бы не он, мы хотя бы в классе оставили Томку в покое. Нам предостаточно было и своих забот...

Мы сидели на крыше и считали звезды.

Может быть, кому-то это представляется пустым делом, но мне до сих пор это кажется одним из самых азартных занятий. Звезды подмигивали, смеялись, менялись местами – словом, вели себя очень нетерпеливо. Будто наши взгляды их щекотали. Редко кто из ребят мог честно досчитать до ста. Все путалось, перемешивалось, приходилось начинать сначала. Так мы воспитывали волю и терпение – качества, весьма необходимые мужчинам. Какими смешными кажутся нам сейчас многие детские увлечения, и с какой серьезностью мы к ним относились! Вероятно, в этом и заключается вечная загадка детства, выжимающая сентиментальные чувства у весьма суровых людей, уже тертых-перетертых нашей другой, взрослой жизнью...

В просветленной звездами ночи плоские крыши домов казались заплатами на широкой и темной спине города. Лишь

кое-где сквозь дружную светомаскировку вдруг прорывался тусклый огонек – кто-то включал лампочку, небрежно занавесив окно. И мы уже были готовы орать: «Свет! Свет!», но огонек, к нашему огорчению, пропадал – видно, хозяин и сам догадывался, что нарушил светомаскировку тылового города, да еще такого, как Баку. Если бы немцы прорвались к нашей нефти, говорил Захар, то стратегически они бы войну выиграли. На что моя бабушка утверждала: «Ничего. Выкрутимся. Сталин что-нибудь придумает». Но Захар в долгу не оставался: «Слушай, Мария, ты умная женщина... Если в керосинке нет керосина, водой ее не разожжешь». Но бабушка не могла допустить, чтобы за кем-то в споре с ней оставалось последнее слово. При этом она пользовалась широким спектром исторических параллелей. «Хорошо, – говорила моя бабушка. – А англичане? В восемнадцатом году захватили Баку. И вылетели отсюда как миленькие».

Посрамленный Захар молчал: он не имел такого арсенала знаний, он был дворником и не собирался баллотироваться в Академию наук. Правда, и моя бабушка не думала выставить свою кандидатуру в Академию – она продавала керосин на Балаханской улице...

Так вот, мы сидели на крыше и считали звезды. А ноздри наши ловили запахи двора, квартала, улицы. Здесь, на высоте, мы точно знали, в какой квартире что варят, что жарят. В основном варили перловый суп. Или чечевичный, на постном масле. Или пекли пышки из кукурузной муки впе-

ремешку с отрубями...

А наши уши выбирали в приглушенной вечерней колгот-не опасные для нашего уединения сигналы: вот скрипнула балконная дверь особым ржавым скрипом, а через мгновение раздался голос:

– Борька-а-а!..

Мы сидим не шевелясь, будто Борьки среди нас и не было.

– ...Я кому кричу? Или ты уснул, несчастный? – продолжает нестись к нам голос Борькиной матери.

– Сейчас, да-а! – не выдерживает напряжения Борис. – Уже подышать свежим воздухом нельзя, да?

– Мой руки, иди спать.

– Я уже мыл руки, – отвечает Борис, не трогаясь с места. – Скоко можно мыть эти руки?

Торг между Борькой и его мамой продолжается... Час растаскивания нас по домам наступил, нас зовут голоса... Точно как предрассветные крики петухов: начал первый, для за-травки...

– Ледя! Леонид... Ледик... – вот и моя бабушка вступила.

– Ты не слышишь, да, как зовет тебя твоя бабушка? Тебе что, уши заложило?

– Слышу.

– Иди домой.

– Сейчас.

– Не сейчас, а сию минуту. Я уже постель нагрела, остынет.

Я краснею. Я чувствую, как сквозь темень ночи просту-

пают светофорным огнем мои щеки и уши. Ах, бабушка, бабушка... Как она меня позорит! Но это начало, настоящий позор впереди.

– Послушай, – невинным тоном начинает дылда Тофик, заядлый второгодник. – Как это она тебе согрела постель? Ты что, с бабушкой спишь?

– Откуда я знаю, что она там болтает? – я отчаянно пытаюсь перевести разговор на другую тему. – По-моему, дождь капает.

– Это не дождь, это Сеидов отошел к стене пописать, – доносится из темноты голос Бориса.

Я счастлив: кажется, товарищи забыли о моем позоре.

Но слишком я плохо изучил характер второгодника Тофика: он пришел в наш класс среди четверти.

– Нет, ты скажи: как это тебе бабушка согрела постель? Ты что, с бабушкой спишь? Один спать боишься, да?

– Что ты ко мне пристал? Пойди у нее спроси. Ты бы лучше меньше двоек хватал.

Ребята смеются. А громче всех хохочет Сеидов, который уже присоединился к компании. Я чувствую, что назревает драка. Честно говоря, драться мне не хочется. Мне охота спать.

Но если я сейчас не подерусь, завтра все будут вспоминать мою бабушку.

– Интересно, кого это больше всех интересует, боюсь я спать один или нет?

– Меня, – отвечает заядлый второгодник Тофик.

Но с ним драться мне ни к чему: он меня отлупит. Правда, мы быстро помиримся: завтра же на арифметике Тофик попросит списать задачу. Но какой толк драться, если заранее знаешь, что тебя отлупят?

И я делаю вид, что не расслышал.

– Кого-кого?

– Мне тоже интересно, – отвечает Сеидов.

Вот это другое дело, Сеидов меня устраивает. Он хоть и сын директора рынка, но драться не может. Как говорит моя бабушка, не в коня корм. А выступил он сейчас потому, что есть люди, которым всегда кажется, что они в центре внимания, что все именно от них ждут решительных поступков, – таких в Баку звали вытыкалами.

Я вскакиваю с места и приближаюсь к Сеидову. Ему тоже не хочется драться, я чувствую, но иначе нельзя: будет подорван престиж.

Мы с ним одного роста, мы стоим, почти приблизив вплотную нос к носу, в соответствии с ритуалом, смотрим друг другу куда-то в область лба, сопя и грозно играя желваками. Очень странный ритуал – я его и сейчас иногда наблюдаю у распетушившихся мальчишек.

Еще мгновение, и мы перейдем ко второй стадии ритуала – отпихиванию. Но тут поспевает мой лучший друг Борис. Нет, он не становится коварно позади Сеидова на четвереньки, с тем чтобы я толкнул вытыкалу и тот грохнулся бы че-

рез Бориса. Это было бы несправедливо, а мы только закончили читать «Трех мушкетеров», которых бабушка сменяла у дворника Захара на старую телефонную книгу. Захар нашел «Мушкетеров» в мусорном ящике и обрадовался: будет чем разжигать керосинку через верх. Правда, страницы были толстые, как картон, не совсем удобные. А телефонная книга подходила больше: там листы и длиннее, и тоньше.

Захар давно ее клянчил у бабушки.

Так вот, мой лучший друг Борис подошел и сказал:
– Томка опять плачет. Слышите?

Который вечер мы слышали голоса Томки и ее отца.

Почему-то в памяти моей стерлись более важные для меня истории, иные приняли несколько измененный вид, стали не такими, какими они были на самом деле, но голоса Томки и ее отца, тон их до сих пор звучат в моих ушах, словно все это только что произошло. Почему? Боль другого человека, который чем-то мил тебе, отзывается в сердце страданием раскаяния, если ты в свое время был равнодушен к этой боли. И это не заживает. Потому как собственные неприятности мы не храним – они покрываются слоями других огорчений и других радостей. А в чужой жизни, что прошла мимо нас, память держит что-то одно – или радость, или горе. Так что в истории с Томкой память моя хранила страдание и только страдание.

И я могу почти дословно восстановить тот разговор. Я не видел, где они стояли в своей небольшой комнате или на чем

сидели, но это и не столь важно.

Томка. Я не пойду в эту злую школу. Все! Я уеду к тете Жене в деревню.

Отец. Что значит не пойду в школу? Институт кто должен кончать – ты или я?

Томка плачет.

Отец. Почему ты не хочешь идти в школу?

Томка. Все говорят, что ты дезертир... С фронта убежал.

Отец. Глупые дети... Меня комиссовали, бумага есть... Я почти ничего не вижу, нужна операция...

Томка. Почему ты ночью ходил в уборную без очков? Зейнабка тебя видела...

Отец. Послушай, я куда ходил? На бульвар я ходил? Я в уборную ходил. Я туда сто лет хожу. С закрытыми глазами могу ходить...

Томка плачет.

Отец. Ладно, не плачь, ладно... Я что, виноват, что у меня плохое зрение, что я руки своей без очков не вижу?.. Что доктора отказываются меня оперировать уже?..

Томка плачет.

Отец. Завтра пойду в школу, выступлю перед детьми.

Томка. Не надо. Еще хуже будет.

Отец. Хуже не будет.

Томка. Будет, будет, будет...

Они заговорили тише. Лишь изредка прорывался резкий вскрик – это был Томкин голос. Адигезалов отмалчивался.

Конечно, что он может сказать? Все ясно...

Мы разошлись по домам.

Бутылка с горячей водой, которую бабушка спрятала в моей постели, уже остыла. А через неплотно закрытую пробку пролилась вода. Я раскричался: мало того что бабушка позорит меня на всю улицу, я должен еще и спать на мокрой простыне. Мама тоже накричала на бабушку: той все кажется, что я маленький, а я уже взрослый, мне скоро пора будет жениться. Бабушка сняла простыню и принялась сушить ее над керосинкой. Я так и не дождался, когда она просохнет, и уснул, сидя на табурете...

Нет, я не был взрослым, мама ошибалась. Был бы я взрослым, я догадался бы рассказать своим родителям о том, что слышал там, на крыше. Возможно, я смог бы кое-что изменить в жизни двух людей – Томки и ее отца. Но я не придал этому значения. И никто из мальчиков не придал этому значения.

После Нового года Спартак Адигезалович Адигезалов исчез. Он и до этого пропадал на неделю-другую, так как работал экспедитором в каком-то учреждении, и все во дворе к этому привыкли. Однако на этот раз прошел куда более длительный срок, а он все не появлялся.

– Наверно, опять дезертировал, – высказала соображение горбатая Зейнаб, которая и дня не могла прожить без новой сплетни. – В Красноводск дезертировал. Боятся, что скоро и к Баку немцы подойдут.

– А Томку оставил? – гневно возразил дворник Захар. – Сплетница ты, Зейнаб. Наверно, все сплетни в горбу своем таскаешь. Что-то он у тебя вырос.

Захар очень не любил тетку Зейнаб. И когда подметал двор, мусор сгребал к ее крыльцу. Может быть, так получалось, а может быть, и специально, не знаю.

Услышав замечание Захара, тетка Зейнаб устроилась поудобнее: набросила на колени платок, чтобы не простудиться, положила локти на перила и, подперев голову кулаком, начала проклинать Захара. По-азербайджански. А для тех, кто не знал азербайджанского, например моя бабушка, она все повторяла на русском языке... Ее подруга Марьям, та самая, что продавала вонючее хаши, знала тоже оба языка, поэтому она следила, чтобы перевод был правильный. И исправляла, когда надо.

Остальные соседи сидели каждый на своем крыльце, лузгали семечки, а кто вернулся с работы – обедал, и все вместе слушали подруг. Зейнаб ругалась так громко, что моя собака Дезик спряталась под лестницу, а Дезик считался храброй собакой.

Захар продолжал подметать двор, протаскивая мусор от ворот к крыльцу тетки Зейнаб, что, конечно, не могло быть ею не замеченным. Дворник делал вид, что не слышит Зейнаб. Правда, время от времени он отставлял в сторону метлу и разводил руками, показывая всем, что сказанное женщиной – чепуха и чистый вымысел. Лишь когда Зейнаб, разо-

брав достоинства всех ближайших родственников дворника, принялась за двоюродного дядю, который жил в Ленкорани и считался долгожителем (об этом даже писали в газете), — только тогда Захар не выдержал. Он отбросил метлу и, глядя в сторону нашего крыльца (Захар был косой и когда смотрел в сторону, то видел все, что делается прямо), начал медленно подниматься по ступенькам к тетке Зейнаб. Тетка завизжала. Спрыгнуть вниз она боялась, а прошмыгнуть мимо Захара не решалась.

Соседи вмешиваться не хотели, потому как все понимали, что Захар поступает справедливо. И таким людям, как Зейнаб, полезно иногда дать по шее: почти о каждом она разносила какую-нибудь сплетню. Ее лучшая подруга Марьям тоже решила не вступать: от Захара зависело, будет ли она торговать своим хаши во дворе или Захар прогонит ее на улицу Полухина, за границу своего участка. Так что Зейнаб осталась с рассвирепевшим дворником лицом к лицу.

Соседи придвинулись ближе к перилам. На крыше смежного дома уже появились первые зрители. Они деловито расселись, свесив ноги в наш двор, и напоминали птиц, что слетаются к водосточному желобу. Многим нравилось быть свидетелями, когда придет участковый. Или, как тогда называли, очевидцами. Мне помнится, не было отбоя от очевидцев, когда проводилось дознание, кто стащил у Фатуллаевых ветхий дырявый палас. Мыто, мальчишки, знали, что описания эти далеки от истины, ибо палас стащили мы сами: не

на цементном полу же нам сидеть в школьном подвале, куда мы частенько пробирались на наши нелегальные сходки. Весной, когда стало тепло, мы вернули палас – снесли и повесили на веревку, как он висел пять месяцев назад. Старик Фатуллаев очень огорчился: он никак не мог избавиться от этого рассадника моли, а шум тогда поднял из принципа...

Единственно, на кого в столь критической ситуации могла рассчитывать бедная Зейнаб, это на мою бабушку. Только бабушка имела влияние на дворника и не любила быть в роли очевидца.

Все это знали.

Но бабушка смотрела под арку дома, где в воротах появилась девушка-почтальон – одна из тысяч беженков, что ночевали на бульваре, дожидаясь своей очереди на красноводский пароход. Ее очередь, видно, была неблизко, и девушка днем разносила почту: после двенадцати – газеты, ближе к вечеру – письма. Девушка работала всего неделю, и пока ее никто не боялся: она не успела еще принести ни одной похоронки. А многие даже на нее молились, считая, что у девушки легкая рука. И хотели, чтобы она подольше не уплывала в свой Красноводск. Ей делали подарки: то платок, то подержанное платье или что-нибудь из крупы.

И сейчас на ней были подаренное выцветшее на солнце платье и подаренные туфли со стоптанными каблуками. Волосы девушки, светлые, длинные, были на затылке собраны в пучок и перевязаны лентой, отчего лоб ее казался очень

высоким и бледным. Почту она держала в большой корзине.

Теперь ее уже заметили все соседи. Появление почтальона было важнее свары, затеянной горбатой Зейнаб.

Девушка остановилась посредине двора и спросила мягким, непривычным для нашего уха голосом:

– А хде проживают храждане Адихезаловы-е?

Ей указали. Девушка поднялась на крыльцо. Постучала. Дверь приоткрылась, и в проеме появилось Томкино лицо. Почтальон протянула ей желтовато-серый конверт с черными типографскими буквами и, сойдя со ступенек, быстро пошла к воротам.

Двор наш притих.

Зрители на крыше не расходились в терпеливом ожидании. Казалось, что веревки, на которых развешивают белье, сейчас всех нас связали в единый тугой узел. Даже мой пес Дезик сидел тихо под лестницей – собаки обычно чувствуют беду, я где-то читал. Дворник Захар повернулся спиной к Зейнаб и смотрел на зеленое, с облупившейся краской крыльцо Адигезаловых.

В наступившей тишине лишь слышались причитания и бормотания Зейнаб. Но они уже не относились к Захару – все это понимали, да никто к ним и не прислушивался. Все, как и Захар, смотрели на зеленое крыльцо... Удивительно, какой напряженной бывает тишина. Словно сам воздух – прозрачный, бесцветный воздух – состоит из грубой бесформенной глыбы, в которую не то что руку – соломку просунуть невоз-

можно, взгляд от которой отскакивает, не проникая...

Томка вышла на крыльцо.

Ее худое лицо было искажено гримасой. Можно было подумать, что она плачет. Или смеется. Или сдерживает улыбкой слезы. Подумать можно было что угодно. А вот глаза ее сияли, это точно.

Я никогда не видел, чтобы у человека так блестели глаза.

Она подняла руку с зажатым в пальцах конвертом. Показала его всему двору. Молча. Все знали, что означает этот серый фронтовой конверт. Когда его приносили кому-нибудь из соседей, даже из далеких домов приходили люди, чтобы поплакать со всеми, сказать доброе слово. О покойниках всегда говорят добрые слова.

Томка положила конверт на перила и принялась спускаться по ступенькам. Ее прямая спина сейчас была вытянута, лишь лопатки выпирали острыми углами навстречу друг другу, словно пытались прорваться сквозь старое платье.

Она шла через двор, отбрасывая носком круглые глупые камни, оставленные на асфальте после нашей обычной игры.

Ее маленькая голова была высоко поднята...

Столько лет прошло с тех пор, но почти всегда, когда я вспоминаю наш старый двор, я вижу Томку, идущую по его битому, продавленному асфальту и отбрасывающую туфлями круглые камни.

ПРАЗДНИК СОБАК НАШЕГО ДВОРА

По утрам солнце прокладывало вдоль улиц желтые дорожки с серыми узорами теней.

Я сидел на каменной ступеньке и мечтал, кого бы обмануть.

Из ворот нашего дома вышла тетка Марьям. Она тянула за собой тележку с двумя огромными пустыми бидонами.

– Марьям-ханум, у вас деньги упали!

Женщина обернулась и посмотрела на тележку, на желтую солнечную дорожку.

– Первый апрель – никому не верь! – заорал я.

– Чтоб твоя мать не успевала выписывать тебя из больницы, – проворчала женщина и принялась топтать своей тележкой солнечную тропинку.

– Если я не найду Дезика, я выбью вам стекла и позову милиционера! – крикнул я в спину ее спине.

– Дезик-мезик... Из-за паршивой собаки всю улицу поставил на голову...

Тетка Марьям ухватила за рукав какого-то прохожего, седого мужчину в галифе и домашних шлепанцах, и показала на меня пальцем:

– Посмотрите на его лицо! Разве это лицо? Это морда маленького шакала, честное слово!

Прохожий посмотрел на меня, потом на тетку Марьям и выдернул свой рукав из цепких пальцев женщины:

– Какое мне дело?! Я иду за хлебом, какое мне дело?..

Я так и не понял, нашел он во мне сходство с маленьким шакалом или нет...

Все началось с того, что у меня пропал Дезик, сын кавказской овчарки Маргошки. Дезик был хорошей собакой. Когда я катался на самокате по школьному двору, Дезик бежал впереди и лаял. Как бы вместо звонка. Одно ухо у него торчало, как вопросительный знак, второе болталось само по себе. Я ему давал есть, а это было нелегко в то время. Официально Дезик ел один раз в день – когда тетка Марьям привозила во двор бидоны с хаши. Конечно, это было не настоящее хаши, что мы ели до войны, а так: среди теплой мутной воды плавало несколько обглоданных костей – для блезира, как говорила моя мама.

Почти все жильцы нашего квартала, за исключением директора рынка Сеидова, покупали это хаши. Литр – десять рублей. Приходили даже из соседних кварталов. Тетка Марьям работала где-то в госпитале, на кухне. И ей как-то удавалось вывезти бидон хаши, а то и два.

Рядом с очередью выстраивались собаки. И я обратил внимание на смешного пса, у которого одно ухо торчало, как вопросительный знак. Песик был очень похож на старую собаку Маргошку, которая спала на школьном дворе. Я и решил, что Дезик – ее сын. Прихватив как-то из дому мисоч-

ку, я плеснул Дезику немного хаши – так мы познакомились. Потом я познакомил с Дезиком маму, бабушку и младшую сестру. На моих родственников Дезик не произвел особого впечатления, только сестра сказала радостно:

– Какие у него миленькие блошки! А! Что она понимала? Девчонка...

Дезик сопровождал меня повсюду. Даже когда я ехал в трамвае, Дезик бежал рядом. Трамваи тогда шли медленно, будто их тащили на веревках. Дезика скорость не устраивала, и он то и дело обгонял трамвай. Или специально отставал, чтобы потом догнать. Собачьи хитрости!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.